

Николай Семенович Лесков

# **Синодальный философ**

# Содержание

#1 .....	0004
ГЛАВА ПЕРВАЯ. ВЫСЕЧЕННАЯ ПОЛКОВНИЦА . . . .	
0010	
ГЛАВА ВТОРАЯ. ОЧАРОВАТЕЛЬНАЯ СМОЛЯНКА . . .	
0026	
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. СИНОДАЛЬНЫЙ ИОСИФ . . . .	0054

**Николай Семенович Лесков**  
**СИНОДАЛЬНЫЙ ФИЛОСОФ**  
**По запискам синодального**  
**секретаря Исмайлова**

*В старину живали деды  
Веселей своих внучат.*

В начале следующих рассказов, которые, мне кажется, по своему любопытному содержанию могут заинтересовать внимание читателей, считаю долгом указать исторический источник, из которого я черпаю мой материал, и предпослать несколько слов о самом сказателе, личность которого имеет значение, ибо читатель должен усвоить в себе к нему доверие.

Все, что вы найдете ниже в этих очерках, взято мною из записок Филиппа Филипповича Исмайлова — немалого чудака, но человека обстоятельного, с независимым складом ума и с откровенностью, которая, на мой взгляд, вполне располагает доверять его искренности.

Записки эти, по поручению их собственника, были мною предлагаемы нескольким петербургским редакциям, но нигде не нашли себе помещения, потому что всем они почему-то показались малоинтересными и даже скучными. Другие были так странны, что требовали от них «направления», как будто старый синодальный секретарь тридцатых годов мог предвидеть какие-то нынешние направ-

ления и стараться потрафлять им... После такой неудачи я задал себе труд прочесть записки от доски до доски и, к величайшему моему удивлению, нашел их чрезвычайно любопытными, а также и крайне поучительными при нынешнем тяготении многих на попятный двор.

Глубокое убеждение в том, что записки Исмаилова принесут читателям удовольствие и своего рода пользу, побудило меня самого взяться за приспособление их к потребностям издания, которое я считаю более других способным снести чужое, хотя бы и не совсем согласное с ним, мнение и не вымогать направления от произведения, в котором его не только не может быть, но и не должно быть.

Я дам все эти записки отдельными этюдами, но ничего не прибавлю и не убавлю, и никаким другим образом не переиначу из событий, о которых записал Исмаилов. Я только сгруппирую их по свойствам материи и приведу все в связь, чтобы оно производило более ясное впечатление. При этом везде, где только удобно, я буду передавать рассказ собственными словами Исмаилова.

Теперь: откуда он и кто такой?

Филипп Филиппович Исмайллов, магистр Московской духовной академии, в 1828 году был рекомендован митрополитом Филаретом Дроздовым генералу-от-артиллерии Петру Михайловичу Капцевичу, в качестве надежнейшего воспитателя его сына, воспитание которого, по особым намерениям отца, должно было совершиться «в самом чистом русском духе».

Филарет Дроздов, определение свойств которого современными его апологетами беззастенчиво объявляется делом, превышающим силы обыкновенного смертного, на самом деле имел одну очень ясную черту (других я не хочу трогать): он был очень недоверчив к людям, — особенно к «светским», или вообще не монахам, ходящим, по выражению епископа Амвросия Ключарева, «в шкуре ефиопа», которую носим вы и я, мой читатель. (Таковую дал нам Бог.) По одному этому недоверию, или хоть, скажем, — предочезрению, человек, рекомендованный митрополитом Филаретом генералу, занимавшему в то время довольно видное место и известному другу синодально-

го обер-прокурора, князя Петра Сергеевича Мещерского, внушает и должен внушать большое к нему доверие.

Положение Исмайлова при Капцевиче показывает, что его очень ценили, — о нем заботились не только сам генерал, но и его друг, обер-прокурор Мещерский, — отец издателя «Гражданина». Капцевич говорил с Исмайловым о своих семейных делах и не ложился спать, не проиграв с ним целый час на биллиарде, а обер-прокурор князь Петр Сергеевич Мещерский изобрел для его утешения даже нечто более существенное, и притом на казенный счет. «Чтобы Исмайлов не терял выгод казенной службы», Мещерский определил приятельского учителя к себе в синод и туда на службу Исмайлова не требовал, дабы он не отрывался от забот о воспитании «в русском духе» молодого Капцевича. Он состоял в личном распоряжении обер-прокурора, и через год таких трудов Мещерский назначил Исмайлова секретарем синода. Впоследствии, однако, Исмайлов стал заниматься и синодальными делами, и даже приобрел в них глубокие познания и оставил заметки.

В записках Исмаилова описаны: жизнь в доме генерала Капцевича (артиллерийский дом у церкви Преподобного Сергия), связи, образовавшиеся в кругу людей близких этому дому; педагогические чудачества родителей тогдашнего петербургского «света», и, наконец, отрывочные этюды о мужьях и дамах, с которыми Исмайлову доводилось сталкиваться по должности синодального секретаря. Все это очень любопытно, и даже, опять повторяю, поучительно. Читая откровенные заметки Исмаилова о том, что такое было «воспитание в русском духе», о котором хлопотали Капцевич и Мещерский, получаешь ясное указание, почему из всех этих хлопот выходило одно шутовство, на которое люди искренние смотрели как на фарисейство и карьерный прием. Патриотов занимало «не воспитание в русском духе, а пристройство детей к местам, где бы они, не обременяясь сведениями и трудами, имели от самого сего настроения выгоду положения».

Слова «искательность» и «пристройство», которые и мы слышали в нашем детстве и позабыли, снова воскресают и действуют.



В записках Исмаилова мы увидим молодого Капцевича и иных совоспитанных ему, но всю эту серию заметок «о воспитании в русском духе» пока отодвинем немного вдаль, а теперь дадим первое место дамам, о которых одна высокопочтенная особа говорила: «они умели грешить и умели страдать».

Взглянем на этих милых грешниц и страдалиц и посравним пока на них век нынешний и век минувший, к которому опять потянулись бездельные руки.

# ГЛАВА ПЕРВАЯ. ВЫСЕЧЕННАЯ ПОЛКОВНИЦА

«Познакомился со мною один богатый дворянин-помещик О. и полковник». Исмаилов все рассказы об этих семейных историях ведет, не обозначая лиц, которых они касаются. По мнению лиц, близко знавших автора, это должно быть приписано «его скромности и деликатности».

Для нас это вдвойне приятно, потому что, благодаря такой скромности, мы свободно можем передать записанные синодальным секретарем характерные черты нравов, не рискуя затронуть ничьей личной щекотливости.

Продолжаем рассказ Исмаилова.

«Зная, что я служу в синоде, помещик стал часто посещать меня; говорил много о себе, о своем круге и своих домашних обстоятельствах, а между тем испытывал, можно ли мне верить сердечную его тайну?»

Не проникая его намерений, я рассуждал с

ним без всяких задних мыслей и с участием, какое мы обыкновенно принимаем в делах людей, ничем, кроме обыкновенного знакомства, с нами не связанных.

Однажды он приносит ко мне кипу бумаг и просит прочитать. Бумаги составляли дело о его неудовольствиях против тещи, которая будто ссорит и разлучает его с женою».

В деле Исмайлов нашел «жалобы зятя и мужа и вследствие того разного рода примирения». Примирения были какие-то «частные и формальные», «при посредстве весьма значительных людей» и «даже местного архиерея», которого Исмайлов, очевидно, считал всех значительнее.

Исмайлов прочел бумаги и, возвращая их помещику, страдающему от тещи, сказал:

— Жизнь ваша некрасива.

— Да, — отвечал он и начал описывать историю своей женитьбы, любовь к жене, ее свойства и особенно свойства матери — его тещи.

«Женился он по любви и, как ему казалось, по взаимной». Мать жены — женщина лет под сорок — была на этот брак тоже согласна.

«После брака первые полгода жили они с женою очень хорошо». Теща если и вмешивалась иногда в какие-нибудь их дела, то все это «обходилось прилично». Но мало-помалу теща становилась несноснее и, наконец, «через полгода в нее точно как нечистый дух вселился: она сделалась мрачною, злобною и ненавистною к нему до того, что он (будучи полковником!) стал бояться ее и избегать ее присутствия».

Причиною такой перемены в теще полковник предполагал то, что он ей сделал замечание о неуместной, по его мнению, доверчивости ее к одному соседу, который, казалось зятю, пользовался слишком теплым расположением его сорокалетней тещи, даже распоряжался ее имением.

«Поступки их и обращение полковнику казались не совсем чисты». Он ими уколол амбицию тещи, а та не стерпела и сделалась его врагом.

Молоденькая жена полковника явилась между двух огней, т. е. между обиженною матерью и мужем.

«Сперва она посредствовала между мате-

рю и мною, говорит полковник, но после предалась на ее сторону. А та, злая и мстительная, чтобы довершить свое торжество и перессорить нас вконец, сыскала дочери приятеля, тоже соседа по имению, и эта несчастная поддалась чарам матери и охладела ко мне совершенно».

Полковник пробовал вернуть себе расположение жены, но безуспешно: сосед, подготовленный для ее утешения матерью, был без сравнения счастливее мужа.

И вот, продолжает полковник, «когда ни ласки, ни внимания, уступки капризам, ни предупредительность в желаниях — ничто не могло обратить ко мне моей жены, я принял решительные меры — стал жаловаться явно».

Результатом «явных жалоб» были «увещания» в собрании родственников и архиерея, причем от супругов иногда «отбирались письменные обязательства жить в согласии и не разлучаться». Документы эти они выдавали друг другу, муж жене, а жена мужу, но все это не давало их освященному союзу благословенной тишины, согласия, совета и любви. «После уговоров и увещаний полковница как

будто немножко образумится, проживет с мужем месяц, но как увидится с матерью, проникнется ее духом, бросит мужа, уедет из дома и не возвращается».

«Значительные лица и архиерей», уму и житейской опытности которых полковник повергал дело о своих ссорах с женою и от них ждал склонения жены к супружеской верности и любви, наконец нашлись вынужденными обратиться к такому сильному средству, которое должно было подействовать наверняка. Они на последнем увещании супругов взяли обязательство жить в мире уже не только от полковницы и полковника, но и «подручательство общих родных». Тут же и было какое-то «свидетельство архипастыря».

Но легкомысленную женщину даже и это ненадолго сдержало: она осталась у мужа с месяц и уехала опять к матери, у которой и прожила целый год, а мужа все это время совсем даже не принимала.

Не хотела даже видеться.

Полковник, познакомясь в доме влиятельного генерала Капцевича с Исмайловым и

узнав, что он, как секретарь синода, хорошо знает брачные дела, а притом еще и большой философ, обратился к нему с вопросом: «что делать?»

Исмайлов, как то видно из его записок, едва ли не наполовину состоящих из резонерства на каждый отмеченный случай, действительно был философ и не схоласт, не теоретик, а философ практический или, как тогда говорили, «философ от хлебного рынка». А потому, явясь к нему с своим семейным секретом, который, надо полагать, был «секретом Полишинеля», полковник попал к настоящему человеку. Но и задача Исмайлова была не легка: он должен был давать совет после того, как о деле этом судили уже «значительные люди и даже архиерей».

Однако, следуя бодрящей поговорке: «отважный ум препятствия не знает», Исмайлов принял щекотливое дело к своему рассмотрению и стал его обсуждать с такими соображениями, которые в одно и то же время свидетельствуют о спокойной ясности его ума, деловой опытности и знании женщин с такой стороны, с какой их трудно знать, не занима-

ьясь бракоразводными делами в святейшем синоде.

Исмайлов прежде всего стал рассуждать так:

«В истории этого несчастного мужа странно то, что он человек прекрасный во всех отношениях: молод, красив собою, ловкий и образованный, полковник, с обширными связями; женился по взаимной любви; добрый и расположенный к жене, но не странно ли, что человек с такими завидными качествами для супружеской жизни не мог поддержать к себе расположение женщины, связанной с ним узами брака?! Нравственной причины упорного отвращения „жены от мужа“ здесь Исмайлов „не находил“, а путем наблюдений, опыта и наведений пришел к заключению, что „причина отвращения полковницы от полковника — физическая, и скрывается в нем самом, то есть, что он натуральный скопец, каких мужчин женщины не терпят и гнушаются“».

Огромная практика сейчас же заставила Исмайлова обратиться к справкам, которые дали ему подтверждение. Он упоминает о



двух подобных случаях, из коих «в одном погибла жена, а в другом — муж сделался развращенным человеком при жене чрезвычайно красивой красавице».

Таково было настроение Исмайлова и потому, когда полковник явился к нему с требованием ответа, «что делать?» — синодальный философ отвечал ему:

«— Тут один ответ: бросить жену и искать развода.

— Ах, нет! это значило бы осрамить ее и себя, а я ее люблю сердечно, — она ангел, не будь только тещи.

— Ну, так поступите так, как у нас в подобных случаях поступает простой народ, — постращайте упрямую беглянку розгами. Она сначала посердится: но увидит, что с вами шутить нельзя, а там как-нибудь дело и обойдется».

«Однако деликатный муж на этот совет не согласился», а Исмайлов ему тогда сказал:

«— В таком случае ничего больше посоветовать не умею».

В нынешнее время, при том смягчении нравов, в которых благотворно сказалась су-

дебная реформа и относительная доля свободы слова, дарованные России почившим государем Александром II, трудно бестрепетной рукою даже переводить подобные речи с пожелтевших тетрадей старого дневника на свежий лист бумаги, и становится жаль умершего старика, который, без стеснения и страха перед судом потомства, выражал свои искренние советы. На стороне их, конечно, не может быть теперь ничьих симпатий, кроме разве симпатий самых грубых невежд или омрачивших свой смысл друзей попятного движения, но будет также несправедливостью дать слишком много воли своему негодованию и судить об авторе записок тридцатых годов как о человеке, имевшем счастье перегореть душою в огне покаяния, очищавшего сердца людей в первые годы прекрасного царствования Освободителя.

Исмайлов, судя о нем вообще, — человек не только не злой, но, может быть, даже добрый и несомненно склонный уважать справедливость и милосердие, но на нем лежат дух века и господствовавший тогда взгляд на исправление женщин, — взгляд, которого,

как сейчас увидим, не считали неуместным даже в «сферах».

Правда, что Исмайлов был «магистр», стало быть, имел высшее образование, которое не всегда встречается в «сферах»; верно и то, что он «был рекомендован» «смирненным Филаретом, митрополитом московским», к воспитанию ума и сердца детей генерала, который опасался малейшего признака западных влияний и хотел во всем и всего «самого русского», но ведь и сам Филарет, как известно, не считал «наказания на телах» за излишнее для «миллионов крепостных», между коими могли встречаться и действительно встречались личности, стоявшие по своему пониманию ничуть не ниже иной дамы... Это противно, но что делать, когда это так было и люди ничтоже сумняся резонировали, вертясь в кругу подобных положений и сопоставлений. «Из песни слова не выкинешь». При этом же хотя Исмайлова избрал и Филарет, но натура его была, кажется, не из избранных по чувствам эстетическим. В заключении своих записок наш философ откровенно говорит, чего ему недоставало. «Здесь (в обществе) я узнал,

что чувство изящного развивается в человеке не теориями эстетики, а практически. Все это привилось к грубой моей натуре не так, как бы следовало, и я остался невозделан. Воспитание кладет на нашу природу такие пятна, которых впоследствии ничем не сотрешь». Исмайлов на старости лет своих вспоминает, в каких он важных домах бывал, но все-таки «остался неловок и не умеет обращаться с людьми»... Все видел и все слышал, что в его время было замечательного в столице, и опять «остался неспособным чувствовать и ценить красоту: в музыке мне нравится гром, а в живописи только яркость колеров, т. е. то, что нравится дикарям».

Нужно только подивиться: какая ирония судьбы через посредство митрополита Филарета выбрала для воспитания русского светского юноши именно этого «невозделанного» человека с эстетическими потребностями «дикаря»... Будто это так непременно нужно для «воспитания самого русского»?

Удивительный выбор со стороны митрополита, по идеям которого в отдаленном грядущем будто бы должно перестраиваться все че-

ловеческое сознание...

Но если всего сейчас мною сказанного недостаточно, чтобы ослабить до надлежащей степени неприятную остроту впечатления, произведенного советом Исмайлова полковнику «постращать беглянку розгами», то это облегчение своему советнику непременно принесет сам полковник, — человек, светски образованный, имевший в свете прекрасные связи и именовавший свою жену «ангелом», которого он очень любит.

Полковник поступил с советом Исмайлова как сын в евангельской притче с приказанием отца «идти». «Один сказал „не пойду“ — и пошел, другой сказал „пойду“ — и не пошел».

То сделал в своем роде и полковник.

«Мы расстались, — говорит Исмайлов, — а спустя довольно времени я услышал, что он воспользовался вторым моим советом: жену высекли и заставили жить вместе с мужем. Для утешения наказанной и мать ее перебралась в дом зятя, и что же эти злые женщины придумали? Они наложили на себя молчание и целые три месяца ни та, ни другая не сказа-

ли ни одного слова полковнику. Полковник побился, побился, — бросил, наконец, жену и с горя, наконец, уехал за границу. Мать и дочь стали свободны».

Сосед по имению теперь мог уже всецело посвятить свои досуги на утешение несчастной, доказавшей ему глубину своей любви принятием за него «наказания на теле».

Такую даму, конечно, любить стоило, и было в ней на что положиться.

Так-то тогдашняя жизнь вырабатывала крупные женские характеры, каких уж нет в наше время.

Но что же вы подумаете об Исмайлове? Этот философствующий «невозделанный дикарь» высказывается теперь совсем не в пользу влюбленного мужа, который добился, что его ангела «посекли».

«Этот поступок полковника, — пишет Исмайлов, — заставил меня переменить о нем мысли. В самом деле, если бы он точно был такой, как я его представлял, он никак не успел бы довести жену свою до позора, хотя и не публичного, но все же при содействии административной власти не секретного. Жена

в ограждение себя от столь постыдного наказания могла бы осрамить его самого. Но этого не сделано, — следовательно, полковник не урод. Задача отвращения жены к мужу затруднилась, и разрешить ее я уже не в состоянии, разве антипатиею».

Затем пошли рассуждения: что такое антипатия и отчего они случаются между мужчиною и женщиною. Это уже не интересно, а данный случай проходит как какой-то кошмар. Точно припоминается Гоголь, в пьесе которого утешают дам, что им хорошо, — их «только высекут». Но ведь это не пьеса, не роман, — это не вымысел. Это рассказывает реальный, ответственный человек, рекомендованный таким лицом, как Филарет Дроздов. На Исмайлова иной может сердиться, но, во всяком случае, ему надо верить. «Дикаря» в Исмайлове много, но много и порук за его честность и справедливость (что дальше не раз будет показано); а притом он слишком близко стоял у дела, чтобы мог дать полковнику совет: «пострацать жену розгами», если бы это не практиковалось. Незачем ему было советовать то, чего было невозможно испол-

нить. С другой же стороны, по своему дружескому положению в доме генерала, занимавшего важный пост в военной администрации, обстоятельный Исмайлов, конечно, не с ветра взял сведение о том, что полковницу «высекли при содействии административных властей». Он знал даже, как высеченная дама и ее мать потом вели себя в доме, — как они, обозлясь, «молчали, как мертвые, в доме мужа»... Конечно, странно и даже необъяснимо: почему синодальный секретарь и философ считал за справедливое «постращать розгами» даму, пока думал, что муж ее «урод», а когда у него явились предположения об «антипатии», то «наказание» розгами ему показалось «постыдным» и как бы напрасным? Кажется, по здравому рассудку, следовало бы рассуждать совсем иначе: за уродство мужа сечь даму совсем не было резона, а уж скорее можно было найти ее вину в том, что она позволила себе иметь «антипатию». Это убеждает нас, что пятьдесят лет тому назад во взгляде на брачные провинности у синодальных чиновников существовали довольно сложные, но не ясные понятия, и что выработанные



ный в это полу столетие переход к институту так называемых «достоверных лжесвидетелей», без всякого сомнения, внес в эти дела много упрощения, которым выражается прогрессирующее настроение нашего века, когда дам уже решительно не секут, по крайней мере «при содействии административных властей».

Другие брачные дела, к которым засим переходим после высеченной полковницы, покажут нам, что вообще в тридцатых годах с этими историями было гораздо хлопотнее и хуже, и тот упрощенный способ, при котором ныне все это мирно укладывается в однообразную форму, надо считать за большое счастье.

Тогда все это было как-то острее, рогатее и до того беспокойнее, что даже однажды сам Исмайлов чуть не сделался жертвою одной отважнейшей *madame Petiphare*, если бы только в нем не было целомудрия Иосифа.

Очень уж эти дамы «умели грешить».

## ГЛАВА ВТОРАЯ. ОЧАРОВАТЕЛЬНАЯ СМОЛЯНКА

Синодальный секретарь был влюбчив, но тоже не без рассуждения и не без осторожности, которая составляла самую рельефную черту характера митрополита Филарета, избравшего Исмайлова для воспитания генеральского сына в русском направлении. Перед холерою 1830 г. Исмайлов совсем было задумал жениться и чувствовал тогда себя к этому приуготовленным: ему исполнилось уже 36 лет, он занимал место, дававшее, по его соображениям, достаточное жалованье и чин надворного советника. При таких обстоятельствах ему казалось можно вступать в брак без малодушия. Но холера Исмайлову помешала: у него в Москве умер родственник, и синодальный секретарь должен был позаботиться о сиротах. Митрополит Филарет оказал пособие вдове и предложил ей поместить детей в сиропитательное заведение, но она нашла, что детям с матерью лучше, и остави-

ла их при себе.

Устроив это семейство, Исмайлов вернулся в Петербург, где у него была на примете девица, на которой он думал жениться, и еще одна «дама», к которой он, по его словам, «питал привязанность», но жениться на ней не мог, потому что она была замужем.

Холера на время оторвала Исмайлова от обеих этих особ, «но когда болезнь утихла, дела и думы людские опять пошли обыкновенным чередом.[1] Стали выбиваться из забвения и мечты мои задушевные».

И вот мы видим нашего синодального философа в любовном переплете тридцатых годов: Исмайлов идет на каком-то «островском гулянье» по Елагину и нечаянно встречает волшебницу, которая год «назад одним мани-ем жезла остановила было в нем движение крови и парализовала сердце так, что в бие-ниях его он ничего, кроме ее, не слышал».

«Она гуляла с братом, двумя дамами и одною девицею: стройна как пальма, резва как серна, мила как ангел, она показалась ему царицею». Он подал ей руку, «пожал ей пальчик». (Так точно дельвал тоже Аскоченский.

Вероятно это было в употреблении, по крайней мере, между чиновниками духовного ведомства.) «Девушка молчала».

Между ними произошел разговор.

«— Вам весело, — сказал секретарь, — и воздух хорош, и прекрасных цветов вокруг вас много.

— А вы? — возразила она.

— Я один, и дышится как-то тяжело».

Волшебница пригласила его идти вместе и ловким манером устроила так, что ему досталось счастье вести ее под руку.

«Я чуть было не вздрогнул, когда она взялась, — пишет секретарь. — Мягкий, как звук флейты, голос, вкрадчивая речь, эфирная поступь, бархатные взгляды черных глаз» сразу произвели на него такое влияние, что он «потерялся в вопросах и ответах». «Я спросил: „как вы провели время холеры?“ Мне ответили нехотя; а на вопрос, „где приятнее жить: в Москве или в Петербурге?“ я не умел похвалить Петербурга, и меня упрекнули: „зачем же приехал?“ Почувствовав свою неловкость, я смутился и был принужден оставить прогулку».

Эта неудача, однако, не оторвала секретаря от его чудной красавицы. «Я непременно бы женился на этой милой девице, говорит он, если бы с расположением к ней не спуталось в моей душе другое, так сказать, центрофугальное движение (?!): я был привязан к одной даме, которой чувства весьма много симпатизировали моим чувствам. Привязанность была взаимная, сильная и совершенно непорочная (по некоторым местам записок можно подозревать, что душа его пламенела таким чувством к свояченице генерала, у которого жил он)». Эта-то привязанность, несмотря на полное увлечение к красавице-невесте, задерживала его «решимость», а между тем случай подвел такую неожиданность, что описанная прекрасная девица вдруг «внезапно умерла».

«Хорошо, что я долго колебался», — замечает по этому случаю Исмайлов, вообще относившийся к смертям так стоически и немножко по-скалозубовски. Живешь — хорошо, а умираешь — и это не дурно. (По случаю смерти жены обер-прокурора Нечаева он даже притопнул и сказал: «Бог наказал!»)

Все это, мне кажется, дает любопытные черты для повествователя и романиста, который бы пожелал взять героя для своего произведения из оригинальнейшего мира светских чинов духовных учреждений, где люди тоже «женятся и посягают» и, стало быть, могут быть, так сказать, предметом нашего изучения и нашего пустословия. Рисует это и тридцатые годы, которые все как-то обходят, но настоящая романическая история во вкусе того времени, представленная притом в довольно полном развитии, здесь только начинается. Это и есть история Очаровательной смолянки, которая в записках не названа и нам не известна, но кому-нибудь, верно, памятна.

Надо полагать, что Исмаилов нередко разглагольствовал о своих «заветных мечтах» и его желание жениться было известно окружающим, между которыми нашлись люди, имевшие на этот счет свои виды.

Исмаилов рассказывает:

«Привязанность моя к даме, о которой я упоминал, усилилась во мне и превратилась в совершенную любовь, но любовь чисто пла-

тоническую. Я предался ей душою, — душою и она предалась мне; но я был свободен, а она не свободна, и потому ей легче было хранить чистоту любви, а мне крайне было тяжело (!). Выпадали самые соблазнительные случаи, но мы воздерживались от тесного интимного сближения».

«В доме генерала, в одном со мною флигеле жил чиновник, его родственник, малоросс, дворянин, по-малороссийски образован в уездном училище. Я жил с ним дружно, — он меня любил и почитал как человека ученого».

Этот малоросс, однако, надувал своего ученого соседа. Стал он звать секретаря к Спасу Преображению, к обедне. Исмайллов в одно воскресенье не пошел, а в другое пошел. Отстояли они обедню, и малоросс начал его звать к одной даме, «предоброй и благочестивой старушке, которая любит поговорить о религии». Секретарь не пошел. Он «не желал заводить знакомства с пожилыми барынями, которые стесняются этикетом», но в следующее затем воскресенье малоросс опять повел его к Спасу Преображению и оттуда-таки завел к

своей «знакомой старушке».

Пришли. «Девушка сняла с нас плащи и говорит: барыня в гостинной.

Настроенный в воображении, что увижу какую-нибудь почтенную старушку, я иду смело — и что ж: вместо старушки вижу необыкновенную красавицу, читающую на диване книжку в полулежачем положении...

Я оторопел, смутился, и все настроение духа у меня пропало.

Когда мы вошли, красавица встала, улыбнулась, протянула руку сначала соседу, а потом мне. Смущенный, я не мог сказать никакого комплимента и поцеловал руку просто.

Сели. Разговор начался приступом об обеде, перешел к погоде, к здоровью и к чьим-то похоронам.

— Не говорите об умерших, — вскричала красавица, — говорите лучше о живых. Мы хотим жить. На что омрачать жизнь преждевременно!

Подали кофе, — было кстати помолчать и одуматься. Я не говорил ничего по причине смущения, которое у меня не проходило. Я смотрел на хозяйку с изумлением; я замечал



ее позы и движения и удивлялся искусству женщин говорить о себе станом и оборотами (?!). На ней и около нее все будто дышало и двигалось. Красавица была одета просто: грудь и руки закрыты, ножки в золотых туфельках, прическа с двумя локонами; на плечах распущенная шаль, но каждая складка, каждая застежка, каждый бантик говорили, что под ними скрывается какая-нибудь прелесть. Никакому живописцу не схватить той линии оборота руки, когда она поправляла свои локоны. Подобный оборот я видел только у Тальони».

Синодальный секретарь сразу влюбился и пошел дознавать кондуит своей «красавицы».

Она была вдова незадолго перед этим умершего полковника, и малоросса с нею познакомил адъютант военного министра Р., «который был близким приятелем ее мужа».

Тут Исмайлов вспомнил, что этот Р. четыре месяца назад просил его хорошенько написать «просительное письмо к государыне» о помощи этой даме, у которой после мужа осталось трое детей и ровно никаких средств. Р. надеялся, что императрица ей поможет,

«особенно если вспомнить ей, что вдова воспитывалась в Смольном институте, круглая сирота и выпущена первою».

Из документов этой дамы Исмайлов узнал, что она сирота, дочь священника, воспитывалась в Смольном на казенный счет, выпущена первою, 16 лет от роду, и прямо из института вышла замуж за полковника, служившего по военно-учебным заведениям; прожила с ним шесть лет и овдовела с тремя малолетними детьми. Средств никаких не было.

Исмайлов сочинил письмо, а адъютант отвез его к военному министру, и прелестная вдова «получила не малозначительное пособие».

Но на одновременное пособие, конечно, нельзя было прожить весь век, и адъютант Р. о ней заботился, а еще лучше их всех она сумела позаботиться о себе сама.

Секретарь стал подозревать, что его малоросс неравнодушен ко вдове, и начал расспрашивать о ее прошлом.

История выходила не совсем обыкновенная и даже трогательная.

«Муж красавицы влюбился в нее, когда она была в институте, и женился на ней с дозволения директрисы. Прожив с нею шесть лет, он не ознакомил ее ни с кем по ревности или из расчета, потому что был беден. Замужняя красавица осталась после него с детьми, но сохранила все другие качества благовоспитанной девицы. (Так думал Исмайлов, но с развитием истории она покажет свои качества иначе.) Свободная и откровенная, как дитя, доверчивая и расположенная ко всем, она мечтала только о добре; всегда веселая, всегда радушная, она знала одно, что женщина должна быть замужем и, овдовевши, не понимала своего положения и верила в будущее».

«Первым ее патроном был Р.», которого секретарь называет «благороднейшим человеком», но он уехал в командировку и поручил навещать ее малороссу. Сейчас же началась игра. «Красавица попробовала испытать его к себе расположение, коснулась его сердца и подобралась к тому, что он решился сделать ей предложение». (Через три месяца после смерти мужа.) «Предложение было принято с обыкновенною женскою робостью».

Малоросс завел Исмайлова ко вдове для того, чтобы узнать его о ней мнение и спросить его: «будут ли они счастливы?»

Сам неравнодушный ко вдове, секретарь советовал товарищу подождать возвращения Р., но влюбленный малоросс отвечал, что «ждать для него и для нее томительно». При этом же малоросс открыл Исмайлову, что неопытная, никогда «не видавшая света и людей» институтка «не дает ему покоя, требует, чтобы он написал обязательство жениться, и дает обязательство и сама.

— По крайней мере, — говорит она, — мы тогда будем покойны и будем знать, как вести свои дела. При вступлении в брак пенсию у меня отнимут, но я надеюсь, что перед выходом замуж мне дадут пособие; а об этом надо хлопотать благовременно».

Оба приятеля нашли эти соображения и мысль об обязательстве резонными, но секретарь стал наводить малоросса на мысль, что красавица ему не пара, что она для него слишком «умна, образована и великолепна». В одном из разговоров он и ей тоже развел рачею, что неравенство воспитания бывает

очень тяжело в союзах, а малороссу сказал, что красавица, кажется, кокетка, и что ему не худо бы повременить с выдачею обязательства, на котором красавица настаивала.

Малоросс его послушался и обязательства не выдал, но, однако, заподозрил, не прочит ли синодальный секретарь эту красавицу в жены себе. А красавица, не получив обязательства, вдруг изменила тактику. Она назначила вечера и стала принимать «холостых и вдовых мужчин и ни одной женщины». Все ее гости были в нее влюблены и «каждому казалось, что он имеет у нее преимущество». То же самое сдавалось и Исмайлову. Он только недоумевал одно: откуда она берет деньги, чтобы давать свои роскошные вечера?

Скоро это ему разъяснилось.

Исполняя какое-то поручение этой неопытной, не видавшей света смолянки, синодальный секретарь заходит один раз к ней утром и застаёт у ней «военного генерала, которого видал у нее на вечерах в числе других поклонников. Хозяйка и гость говорили очень жарко, но когда секретарь появился,

они прекратили разговор, и генерал после двух-трех незначащих слов взял фуражку и раскланялся.

— Вот чудак, — сказала, проводив гостя, красавица. — Хочет заставить меня насильно чувствовать! Делает предложение, чтобы я за него вышла, а когда я сказала, что об этом еще не думала да и думать не вижу надобности, он рассердился. Не верит, чтобы меня в мои годы не тяготило одиночество, а с ним-то какая радость? Сед как лунь, стар как гриб и лыс как Адамова голова.

— Что же, вы отказали наотрез?

— Ну, нет; он мне много помогает: он и нынче мне привез пуд сахару и ящик чаю и еще кое-какие безделушки — целый кулек».

Вот какая тогда была на этот счет просто-та.

Секретарь представил институтке, что генерал богат, любит ее, даст ей положение в свете и устроит ее детей; но она отвечала:

«— Генерал не моего духа, кроме того он стар и мне не нравится. А к тому же он так делает добро, что это меня унижает. Добро надо делать умея».

Потом она «особенно чувствительно взглянула» на синодального секретаря и страстно проговорила:

«— Я жить хочу!»

Он, кажется, это не хорошо понял.

«— Живите, — отвечал он, — вы достойны жизни, — и откланялся...» Ушел «и стал ее уважать еще больше». «А меж тем у вдовы гостей все прибывало, и все были люди очень порядочные и готовые всем для нее жертвовать». Малоросс не выдержал секретарских советов и пришел к очаровательнице с «обязательством», которого она прежде хотела, но было уже поздно. Она его теперь сама отстранила. Несчастный «загрустил, заболел горячкою, сошел с ума и в две недели умер, все вспоминая ее имя и бредя чарами любви. Она даже не вздрогнула».

С этих пор начинается что-то вроде сцен у Лауры.

«В доме красавицы цели посетителей стали обнаруживаться: закипела ревность; на вечерах прежде держали себя тихо, с любезностью и приличием, а тут завелся шум, брань, ссоры и стало доходить до дуэлей». Все

как с ума сошли и впали в такой азарт, что «каждый старался всеми мерами отдалить от нее другого. Клеветали, ссорили, злословили друг друга. Она видела, что все это идет из-за нее, и не только не останавливала этого, но напротив поддерживала огонь вражды за нее. Один из поклонников застрелился, другой скоропостижно умер»... Запахло преступлением...

Синодальный секретарь увидал, что ему здесь между таким отчаянным народом не место, и сейчас свернул ласточкины хвостики своего полиелейного ффрачка и перестал летать к ней на свидания.

Однако было уже поздно, и тут начинаются тягчайшие его испытания от этой мучительно-прекрасной иерейской дочери, для прихотей которой даже и синодальный секретарь понадобился.

В разгар смертоносных оргий, в которых прекрасная смолянка духовного происхождения хладнокровно и бестрепетно изводила своих поклонников, в Петербург возвратился из своей командировки адъютант военного



министра Р. Он ужаснулся, как подвинулись дела во время его отсутствия и какими сорвиголовами окружила себя молоденькая вдова его покойного товарища.

«Он устремился к тому, чтобы рассеять не понравившееся ему общество и заставить ее отказаться от своих поклонников». Лучшим средством, чтобы заставить ее возненавидеть разгульную жизнь, адъютанту показалось ретставрировать в доме вдовы неопасного синодального секретаря.

Тот прибыл на пост, но все это «не возвратило ей прежних доблестных качеств» (т. е. тех качеств, которые насочинили ей в своей восторженной простоте и житейской неопытности Исмайлов и погибший от ее руки малоросс). Адъютант и синодальный секретарь совместно старались «восстановить ее на ступень нравственного достоинства», и Исмайлов, как записной философ, «согласно духу адъютанта, вовлекал ее в разговоры открытые, а когда в ней проторгались мысли, противные его убеждениям, препирался с нею до грубости». «Р. поддерживал» его, «горячился и грубил еще более». Но «все это ни к

чему не повело», кроме того, что, надо полагать, оба эти проповедника совсем надоели вдове, которая, очевидно, твердо наметила себе, как тогда говорили, «другой проспект жизни». Она стала давать им на все их доводы «о вдовстве и супружестве» такие отпоры, что хотя бы самой завзятой нигилистке 60-х годов.

«Супружество красавице не нравилось, а вдовство она не считала для себя тягостным. Для воспитания же детей признавала со стороны матери всякое средство прощительным и даже дозволенным.

Последнюю мысль, говорит Исмайлов, мы отвергли с презрением и стыдили свою соперницу, а о свободе внушали ей, что женщине нельзя полагать свободы в том, в чем ее дозволяют себе мужчины». Однако дама нашла, что все это пустяки. По ее мнению выходило, что женщина «сирота или вдова» может жить свободно, «лишь бы не делала несчастья других».

Собственным умом, при одном образовании Смольного института и без малейшего влияния растлевающей литературы 60-х го-

дов, красавица, значит, предупредила идеи века почти на целое полу столетие...

Видя такое ее настроение, синодальный секретарь отказался у нее бывать. Да это ему так и следовало.

Но что же сделала интересная вдова?

Тогда она сама стала «заманивать» к себе Исмайлова. Он долго стоически выдерживал себя и к ней не шел. Она выходила из себя и не знала, как «с ним поступить». Наконец написала письмо, исполненное страстных жалоб и резких упреков, и закончила тем, что сама не хочет меня видеть.

«Я извинился через письмо, говорит Исмайлов, и несколько польстил ей: я написал, что я человек холостой, могу любить, но не могу жениться: что любить и видеть любимый предмет, не обладая им, значит обречь себя на жертву неминуемую, и что подле нее я всегда чувствовал жгучий пламень, но не ощущал отрадной теплоты. Боюсь стореть и пасть такую же жертвою неосторожности, какою пал мой добрый малоросс».

Сказано было очень ясно. Так тоже писали в 60-х годах. Приглашения к обладанию от-

радной теплотой синодальный секретарь, однако, от вдовы не получил. «Красавица замолчала», и секретарь сделался к ней не вхож, а адъютант опасался, что «она того и гляди уронит себя окончательно. Но судьба решила по-своему».

И как увидим, решила очень причудливо и совсем in hoch romantischen Stile.[2]

«В один осенний полдень красавица гуляла в Летнем саду, с нянею и детьми. Кому-то из гуляющих близко нее сделалось дурно. Почувствовавший дурноту потянулся было к скамейке, но закачался и вдруг упал.

Красавица оставила детей на присмотр няни, а сама бросилась помочь упавшему. Расстегнула ему сюртук и галстук; потерла чем-то из своего флакончика виски и голову; потребовала воды; спрыснула лицо и, таким образом приведя омертвелого в чувства, отправила его с провожатым в его квартиру».

А «в то время, когда красавица занималась больным, подходит к ней один мужчина немолодых лет (ниже сказано за 70), изысканно одетый: помогает ей в операциях, оберега-

ет от любопытных и, когда все кончилось, вежливо раскланивается, не объяснив, кто он такой, и не спросив, кто она такая.

На другой день незнакомец приезжает в дом красавицы и под предлогом благодарности за оказанное ею вчера доброе дело просит позволения с нею познакомиться». В одном месте записок сказано, что красавица жила «между церковью Спаса Преображения и Литейною». Здесь издавна было только два дома: один гр. Орловых, где сторонним жильцам квартир не отдавали, а другой длинный, одноэтажный, деревянный, на месте которого в наши дни построен огромный дом Мурузи. По всем вероятностям, очаровательная куртизанка тридцатых годов жила именно в этом доме.[3]

Посетитель этот был «русский вельможа и государственный муж».

Красавица «сумела его принять и повела себя с ним прекрасно». Адъютант Р. явился к ней, чтобы дать ей совет, как держать себя с государственным человеком, но неопытная смолянка в советах своих опекунов не нуждалась.

«Государственный муж стал ее посещать каждый день».

Виверы[4] и дуэлисты исчезли как по магию волшебного жезла. Музыка пошла совсем из другой оперы. «Красавица держала себя строго и прилично, так что государственный муж не мог заметить в ней даже невинного кокетства. Отношения их образовались как отношения двух особ, ведущих дружбу и взаимно друг друга уважающих».

Однако синодальный секретарь вельможе не верил.

«Нельзя, говорит он, было подумать, чтобы он не имел на нее видов. Бескорыстное посещение из желания одного добра и пользы ближнему не клеится как-то с понятием богатого и гордого вельможи».

Таковы были мнения о вельможах в синодальной канцелярии.

Но со вдовою вельможа не был горд, и дружба их шла прекрасно, в полной семейной простоте. Государственный муж взялся устраивать ее дела, обласкал детей и стал их посылать кататься с нянькою по городу в своем экипаже...

Известно, что такие моменты, когда дом пустеет, бывают для многих вдов не безопасны, и потому «положение красавицы (за которую адъютант и секретарь наблюдали) показалось шатким».

«Государственный муж» был стар, «имел за 70 лет» и был «весь на пробках и на вате», но все-таки *en tout cas*[5] друзьям вдовы казалось, что она рискует.

Секретарь и адъютант предупреждали красавицу, что «вельможа желает сделать из нее гризетку», но она, по своему отчаянному характеру, их не послушала и даже начала брать от него подарки. Это тоже в своем роде любопытно, как делалось. Подарки присылались щедро, но не грубо — не так, как делал генерал, который привозил голову сахара и ящик чаю, и сейчас прямо, по-военному требовал, чтобы его за это уже любили. Вельможа присылал свои дары с удивительной утонченностью и с тонким символизмом, на языке цветов, — чего не обнаруживали до сих пор ни один из вымышленных романических героев этой любопытной и малоописанной эпохи.

Государственный человек заезжал в магазины, отбирал там лучшие товары и прямо «кипами» присылал их вдове через таких послов, которые назад брать не смели.

— Не можем, — говорили, — за все заплачено, а кто платил — не знаем.

Невозможно было не брать, и красавица так своим опекунам и говорила. Это «невозможно».

Но мало-помалу щедрый Юпитер объявился своей Данае.

Раз государственный муж, не скрывая себя, прислал ей «несколько штук разных материй разных цветов и просил ее выбрать, какие ей понравятся, и указывал, какие ему нравятся».

Необходимость получить ответ, вероятно, и побудила его открыться.

Дары пришли при адъютанте, который сейчас «заставил красавицу подумать: не приманка ли это?»

Надо вспомнить, что тогда влюбленные были гораздо замысловатее и знали секрет переговариваться цветами.

Адъютант призвал на совещание сино-



дального секретаря, и они раскатали перед собою дорогие ткани и начали соображать.

Секретарю «показалось, что вельможа имеет хитрую цель искусить красавицу и узнать: какие она имеет о нем мысли?»

«Цвета материй, говорит Исмайлов, все были знаменательны, а те, которые будто нравились искусителю, выражали восточные объяснения в любви».

Секретарь и адъютант решили: «или ничего не брать, или взять одну материю неопределенного цвета».

Но «красавица» и тут была обоих их умнее: она «решения их не одобряла, а выбрала материю цвета темненького».

То есть степенность и постоянство.

Впрочем, потом она, по просьбе вельможи, взяла и все остальные материи, а своим советчикам сказала, что «иначе невозможно было, не изменив такту приличия».

А между тем, «материя темненького цвета» сделала прекрасное дело, и удивительно скоро. Увлечение государственного мужа молоденькою вдовою назрело до того, что «вельможа пригласил к себе адъютанта, которого

считал, может быть, родственником красавицы, и поручил ему узнать: не желает ли она вступить с ним в брак».

Секретарь был уверен, что она откажется, потому что военный генерал, который возил ей чай, сахар и безделки, был сравнительно гораздо моложе и сильнее «государственного мужа на вате и на пробках», и, однако, она даже и ему отказала. Но все эти соображения негодились: вдова сверх ожидания немедленно же дала свое согласие выйти за вельможу на вате.

«Брак скоро состоялся, и наша красавица вступила в первый слой общества и внесена в список придворных дам».

Красный зверь, за которого Исмаилов брался простыми руками, ушел далеко, и секретарь мог только философствовать: «что она теперь чувствует?» Написал он об этом много, но не отгадал ничего. Он думал, что у нее должен происходить ужасающий «разлад с собою», а она, вместо того, устроилась преудобно.

«Облелеянная мужем, она усвоила вельмо-

жеский быт и пышность, имела первый дом и первые экипажи, и заняла при дворе место, соответствующее значению мужа, а в доме умела себе заручить полную свободу. (Пользовалась она эту свободую сколько хотела, чтобы осуществить свои мечты.) Мужу она отдалась умом, а сердце, которым старик неспособен был владеть, отдала на произвол собственных движений, и... в чадү велико-светской жизни не позабыла меня»...

Да, ужасный, сколько необъяснимый, столько же и гибельный для Исмайлова, и роковой для самой этой дамы, каприз побудил ее в высоком своем положении сделать то же самое, что сделал светлейший князь Тавриды, когда, пресытясь тонкими «столами», он захотел ржавой севрюги, которую нес себе на ужин бедный чиновник.

Высокопоставленная дама, видевшая уже у ног своих цвет лучшей молодежи, вдруг вспомнила о синодальном секретаре в его по-лиелейном фрачке...

Секретарь затрепетал от страха — и было из-за чего...

Библейская история madame Petiphare с

Иосифом во всех отношениях уступает той, которую разыграла шаловливая смолянка тридцатых годов. Египетская дама действовала в примитивной простоте, — сама лично своею особою, а эта с удивительною прихотливостью добилась, чтобы синодальный секретарь был отдан ей на жертву руками собственного ее высокопоставленного мужа и генерала Капцевича, которых она столь ослепила своею мнимою наивностью и чистотою, что они стали смотреть на целомудрие, соответствовавшее званию синодального чиновника, как на непозволительное невежество перед достойною уважения светской дамой, и самым угрожающим образом толкали его на путь, его недостойный.

Исмайлов является в таком ужасном положении, что с одной стороны его ждут сети дамы, к которой можно применить стих Байрона:

Весталка по пояс, а с пояса Кентавр,  
а с другой — ему грозило бедами гонение ее могущественного супруга и генерала Капцевича, готовых представить его карбонаром обер-прокурору князю Мещерскому и самому

рекомендовавшему его митрополиту Филарету, который сопротивления начальству не переносил ни в ком.

Положение запутанное и трагикомическое, из которого пострадавшего синодального секретаря могли освободить только счастливая случайность да находчивость охранявшего его гения.

# ГЛАВА ТРЕТЬЯ. СИНОДАЛЬНЫЙ ИОСИФ

Разговор во дворце подействовал на Капцевича очень сильно.

Исмайлов пишет: «Генерал, возвратясь домой, тотчас позвал меня к себе и начал спрашивать, как он, мелкотравчатый человек, „знаком с такими лицами?!“»

«Я (говорит Исмайлов) слегка рассказал историю знакомства и как дело дошло до приглашений и моего укрывательства».

Генерал Капцевич не только нимало не обиделся за то, что ее высокопревосходительство дозволила себе в его доме описанный нами дебош и с забвением всех приличий хотела произвести насильную выемку синодального секретаря из запертого помещения, — напротив, генерал обрушился гневом на самого же Исмайлова за то, как он смел «укрываться».

Он очень долго сердился и кричал:

«— Вы, милостивый государь, компрометируете меня. Дама, которая призывала вас к се-

бе, даже приезжала к вам сама — супруга одного из первых государственных чинов империи!.. Ваш поступок низок и его ничем оправдать невозможно... В субботу непременно поезжайте и извинитесь, как знаете и как придумаете».

Словом, ступай и губи свою чистоту, как пожелала супруга важного человека!.. Но если генерал и государственный сановник считали ни во что секретарскую добродетель, то ему самому она была дорога, и он надеялся ее отстоять с упованием на бога, перед очами которого и синодальный секретарь все же сто́ит «более двух воробьев, предлагаемых за единый ассарий». А и о тех есть высшее попечение.

«Мне стыдно было перед генералом, говорит Исмайлов, но сдаться мне не хотелось». Бедняк «для успокоения генерала, разгневанного и обиженного тем, что в его доме маленький человек смел уклоняться от прихоти дамы большого света» — «дал слово ехать в субботу и извиниться, как и перед кем будет пристойно»...

Колико раз гордыней всперт порок

И приунижена бесщадно добродетель...

Теперь положение синодального секретаря было уже самое отчаянное: послушаться и не идти «под удар» долее решительно было невозможно. Так это поставила коварная красавица, приведя дело своих пустых прихотей в соотношение с вопросом о чинопочитании старшим, в числе коих один, самый к ней расположенный и готовый карать за нее кого угодно, был ее высокопревосходительный супруг, «из первых чинов государства».

Исмайлову, кажется, можно было для охраны своей добродетели съехать из генеральского дома, но тогда непременно последовали бы напасти по службе от обер-прокурора князя Мещерского, который тоже был хороший ценитель связей и дорожил «случайными людьми» не менее, чем друг его генерал Капцевич. Сделав один шаг из дома Капцевича, весьма вероятно пришлось бы удалить себя и из синода, где Исмайлову так нравилась умилявшая его «обстановка присутственной камеры»; а затем он мог быть представлен в самом неблагоприятном свете и митрополиту Филарету, как человек, не оправдавший его



редкой рекомендации. Митрополиту же всего, что тут действует, не расскажешь, ибо это зазорно, да его святость и внять тому не может, ибо, по собственным словам святителя, он жизнь мирскую «недостаточно знал». Одно имя важнее другого витали в смятенном уме Исмайлова и должны были усиливать тревожное представление о ней, которая хотя и происходила из духовного звания, но не почитала ничего истинно великого и святого. Словом, синодальному секретарю угрожала потеря всего, а против этого противостояла не менее страшная для его добродетели необходимость — «сдаться» и вести самого себя «под удар».

Он мог ясно предвидеть, что произойдет с ним в доме вельможи. «Государственный муж» примет его, конечно, на самое короткое время в кабинете — ободрит его здесь ласковым словом, что «его не съедят», и затем, пошутив над его застенчивостью, отошлет его к своей высокопревосходительной супруге, а там он и «попадет под удар».

Надо было из этого каторжного положения «найти изворот», и притом скорый, смелый и

решительный, потому что роковая судьба была не за горами и, может быть, напоминала о себе Исмайлову назойливее, чем те субботы, когда он в пору счастливого отрочества в малых классах духовного училища был патриархально сечен отцом смотрителем.

Но ожидающее его теперь терзание, разумеется, было несравненно страшнее и серьезнее.

Зато он и отлично нашелся.

«Давши слово генералу (Капцевичу), я поставил себя в тупик, из которого не знал, как выбраться (говорит Исмайлов), не ехать — нельзя, а ехать — только осрамишь себя или навернешься на беду и неприятность. Я придумал изворот, и, к счастью, изворот подействовал как нельзя лучше».

«В субботу в назначенный час», облачась во весь полиелей синодальной униформы и прикрыв ее пристойным плащом, секретарь тронулся в путь, «к дому вельможных панов», но путь этот он исполнил с большою предусмотрительностью.

«Остановясь вдали», он покинул своего

возницу и стал прохаживаться около ворот дома «государственного мужа» и «пристально высматривал: не выедет ли куда его высокопревосходительство, супруг высокопревосходительной красавицы».

Надо полагать, конечно, что он похаживал ловко и тоже с осторожностью, чтобы ее высокопревосходительство никак не могла его усмотреть ни из одного из окон своего вельможного дома. Широкие плащи того времени, конечно, представляли немалое удобство для его рекогносцировки, а время тогда было много против нынешнего проще и доверчивее, так что ничье бдительное око не находило в долгом бродяжестве синодального секретаря у вельможеских ворот ничего подозрительного и опасного.

Все шло благополучно: синодальный секретарь уже «часа полтора» похаживал у вельможеских ворот, зазирая во двор и укрепляя себя предположением, «что такие сановники имеют много дел и дома за полдень не сидят».

Основательное знание светских обычаев своего времени его не обмануло: «через полтора часа я, действительно, увидел, что к

подъезду подали карету и его высокопревосходительство скоро вышел и уехал».

Тогда синодальный секретарь живо бросается к своему извозчику, — «нимало не медля сажусь, подъезжаю к крыльцу и спрашиваю: дома ли? Отвечают: сейчас выехал. Прошу, чтобы доложили, что был такой-то, и отправляюсь домой.

За обедом говорю генералу, что был, но не застал, и велел доложить, что приезжал.

Генерал, по обыкновению доверчивый, не спросил, в каком часу я был, а сказал:

— Что же, вы свое дело сделали. Побывайте когда-нибудь в другой раз, и постарайтесь лучше в праздник, — тогда застанете вернее.

Я отвечал, что постараюсь, но стараться не думал.

Маневр мой кончился благополучно, но долго ли? Это задача. Красавица не удовлетворится приездом, — проникнет мою хитрость и протолкует мужу, что это насмешка. Разгневанный муж встретится с генералом и наговорит или даже наделает ему кучу неприятностей. Тогда что? Тогда чем я защищу себя? Чем прикрою истину моего чувства

к красавице? (!) Мне не поверят, а разоблачать истину — сочтут клеветой... Я вооружу против себя двух сильных людей, которым легко задавить меня как червя»...

Несчастному пришлось жалеть, для чего он некогда похвалялся красавице, что «жениться не намерен, но любить может», и притом еще жаждет близ нее «отрадной теплоты». Вот оно, это разбитное удальство, выразившееся в кичливом пустословии, которое неосторожно начертано им собственной его рукою в любовной эпистолии, теперь и восстанет против него уликою, как оторванная пола платья Иосифа. А тогда и поминай как звали синодального волокиту, хотевшего сесть не в свои сани...

«Отрадной теплоты» опять нет, а между тем огонь уже сожигает его оробевшее сердце и рисует ему погибель, страшнейшую той, которою окончил дни свои опаленный страстью малоросс.

«Да, я зашел далеко, — пишет в укоризну себе Исмайлов, — у меня закружилась голова и я упал духом.

Не видя исхода, я винил себя во всем — и в

неосторожности, и в трусости, и в преступлении противу чести данного слова.

Сдавленный черными мыслями, я ходил как убитый и близок был к отчаянию, если бы судьба скоро не сжалилась надо мною».

«Благодать преобладает там, где преизбыточествует грех», и наичаще она проявляет свою спасительную силу именно тогда, когда все соображения и расчеты человеческие уже кажутся несостоятельными и бессильными.

«Генерал (Капцевич) поехал с визитами и, возвратясь домой, прямо приходит в мою комнату», что, очевидно, случалось не часто, а только в экстренных обстоятельствах.

Генерал был сильно взволнован и заговорил с синодальным секретарем в особливом тоне.

«— Слышал ты, — спросил он, — что случилось с твоею приятельницею, madame такой-то?»

Я чуть не упал со стула, вообразив, что несчастная моя проделка открылась». Но на самом деле «открылась проделка» не Исмаилова, а его немилосердной мучительницы.

Энергическая дама эта в «междучасие» своей охоты за синодальным секретарем, целомудрие или осторожность которого ставили ей досадительные преграды, не теряла из вида и других шансов и устроила где-то что-то невозможное и превосходящее всякие описания.

Она «проштрафилась» и произвела какой-то трескучий скандал, «совершенно уронивший ее и ее высокопоставленного мужа».

«Генерал продолжал: приятельница твоя проштрафилась. Что она сделала — это держат в секрете; но ей уже отказали в приезде ко двору. Дурных толков о ней полон город. Удар для нее и для мужа жестокий. Хорошо, что ты не застал этого гордого старика волокиту, — ввязали бы и тебя в ее скандальную историю. Говор стоит во всех лучших домах, и доброго ничего не говорят».

«После этого я выпрямился и, ободрившись, рассказал генералу откровенно и в подробности все свои отношения к красавице. А чтобы поддержать генерала в невыгодном о ней мнении и прикрасить свой обман (sic), я объяснил настоящую причину смерти родственника его (несчастливого малоросса) и при-

знался, как я схитрил, чтобы не застать нежного мужа красавицы в доме.

— Развращенная женщина! — воскликнул генерал, но, немного подумав, прибавил: — Правда, красота — великое искушение для женщин, и трудно им — этим скудельным сосудам — устоять против беспрестанных соблазнов. Едва ли в тысяче найдете одну, которая бы до конца жизни умела сохранить свою непорочность. Мы, мужчины, требуем от них чистоты, но не мы ли сами их и губим, на них одних возлагая всю ответственность»...

Добрый старичок, за минуту так расходившийся на «гордого волокиту» и на «развращенную женщину», «вздыхнув, замолчал и поник головою».

Генералу стало ее жалко, быть может, как мне и вам, мой читатель!

Быть может, он что-нибудь вспомнил, о чем не мешало бы вспомнить каждому, кто готов «бросить в нее камнем».

А что сделал распрямившийся синодальный секретарь?

«Я торжествовал, — пишет он, — мое дело сошло с рук легко. Красавица и ее муж более



меня не тревожили, и я их уже никогда не видел».

Недаром, видно, держится у нас на Руси поверье, что военные люди почему-то способны относиться к слабостям и несчастиям человеческим добрее, чем иные, «опочившие в законе».

Этим собственно я предполагал и заключить пересказ брачных историй, отмеченных в записках синодального секретаря Исмаилова, но одному неожиданному обстоятельству угодно было дать мне возможность еще продолжить дальнейшую любопытную историю моей героини. Это я исполню уже не по писаниям синодального секретаря, а по устному преданию достопочтенного человека, которому лица, упоминаемые в записках синодального секретаря, показались небезызвестными.[6]

Достопочтенный современник «очаровательной смолянки», старец, достигший тех лет, когда уже сами года служат порукою за истину рассказа, — говорит, что «лицо героини ему знакомо» и что она могла совершить

все, что описывает Исмайлов, «ибо совершала вещи, гораздо более превосходящие вероятие». У Исмайлова, по словам современника, эта отчаяннейшая и в то же время милейшая женщина «описана грубо». Очевидно, говорит он, синодальный секретарь семинарского воспитания не мог понимать эту прихотливейшую смесь добра и зла, коварства и простоты, ангельской прелести и демонического обаяния. Это была душа, способная уноситься до высокого самоотвержения и падать до самых низменных нечистот нравственного ада. Ему помнится, что едва ли не для нее был сочинен романс:

*То ночь не спит, то день зевает,  
То холодна, то жжет в ней кровь.  
То смерти ждет, то жить желает,  
То всех чужда, то любит вновь.  
И т. д.  
То в монастырь, то в ад летит.*

Любопытный рассказ образованного современника не изменяет общего характера этой странной и страстной особы, но он окрашивает ее более ей соответственным колоритом, в

котором ее безумные прихоти и увлечения всем, что попало en regard amoureux[7] делаются понятнее, мягче и, если не становятся извинительными, то, по крайней мере, вызывают к ней порою глубокое сострадание.

Любопытен в этом рассказе и ее супруг. Этот «государственный муж на пробках и на вате», которого генерал Капцевич то боялся, то называл «гордым волокитой», являет в своем характере странные, но симпатичные типические черты другого, более раннего, «Александровского века». При недостатках, что он должен был заменить у себя «ватой и пробками», он умел быть милым и приятным, умел любить и был действительно любим даже ею, среди ее неистовых безумств, уронивших ее и его в петербургском свете непоправимо.

Словом, жизнь «очаровательной смолянки» далеко не исчерпана записками синодального секретаря, встреча с которым составляла в ряду ее затейных упрямств один эпизод, и притом, конечно, весьма неважный. «Это была еще проба пера и чернил». Все, в чем она успела до сих пор проявить свою со-

рванцовскую энергию, совершенно ею почти на самом расцвете жизни, «когда ее темперамент и воля были еще сравнительно слабы и несмелы». Удаление ее от двора и отвержение высшим кругом русского светского общества последовали, когда ей не было более двадцати трех лет, а натура ее была не из тех, которые способны киснуть и плакаться о репутации. Ничто совершившееся не занимало ее размышлений надолго: что раз прошло, то все равно как будто и не бывало. Поэтому она не грустила и не дала себе затеряться или увязть в бесплодных раскаяниях и сожалениях. Напротив, она смело шла далее своим путем, только при более окрепшем уме и какой-то угарной смелости. Ненасытимая жажда приключений ставила ее не раз лицом к лицу с невообразимым сбродом и потом вдруг останавливала на ней внимание Наполеона III. Это было в Париже около 1850 года когда она была уже снова вдовою и ей исполнилось за сорок лет. Она и тогда была еще столь очаровательна, что заставила президента среди его борьбы с Кавеньяком и рискованных хлопот об уничтожении законода-

тельного собрания, выучить для нее на бале «три русские слова»:

— Я вас люблю.

В знак взаимной национальной любезности она ответила ему на это по-французски:

— Et moi aussi.[8]

Что касается до нее, то она на этот раз лгала.

В ее «угарной голове» сверкнула мысль предвосхитить карьеру Евгении Монтихо, графини де-Тэба... и если бы это ей удалось, то мир увидал бы на троне существо гораздо более причудливое, чем Мессалина.

*Впервые опубликовано — газета «Новое время», 1883.*

# Примечания

В записках есть несколько страниц, занятых описанием холеры. Нового и неизвестного в них мало, а то, что есть, я отмечу здесь вкратце. «Бунт холерный» Исмаилов не хочет даже называть «бунтом», а считает недоразумением, которое приписывает грубости и невежеству полиции. Полиция «запирала дома» и тем наводила страх на людей, и без того уже перепуганных. Притом жильцам запертых домов нельзя было купить продуктов и им только кое-что «подавали в подворотни». Приезду государя Николая Павловича из Петергофа в столицу он приписывает большое успокоительное значение, «потому что народ его любил и верил ему», но при этом Исмаилов рассказывает одну такую сцену, которой мне ни у кого другого начитывать не случилось. Это у синодального секретаря буквально записано так: «На площади у Преображенского собора государю, утомленному и соскучившемуся, вздумалось упрекнуть собравшуюся толпу и пригрозить. Что ж? Толпа раздвинулась и многие надели шапки. Государь, заме-

тив, что угрозою ничего не поделаешь, переменил тон, позвал народ в церковь помолиться, и все за ним пошли, пали в церкви на колени и молились со слезами, со слезами и проводили после государя, прося у него милости и защиты». «Народ не совсем виноват, — прибавляет Исмайлов, — ему ничего не объясняли, и все делалось как-то тайно» (прим. Лескова).

[^^^]



## 2

В высоко романтическом стиле (нем.).

[^^^]

До недавней сломки этого дома здесь помещался известный трактир Шухардина, служивший довольно долго местом литературных сходок. Его звали «литературный кабачок Пер Шухарда». Тут певал под гитару «Тереньку» Аполлон Григорьев, наигрывал на рояли «Нелюдимо наше море» Константин Вильбоа, плясал Ваничка Долгомостьев, кипятился Воскобойников, отрицался гордыни Громека, вдохновенно парил в высь Бенни, целовался Толбин, серьезничал Эдельсон, рисовал Иевлев и с неизменным постоянством всегда терял свою тверскую шапку Павел Якушкин. Бывали часто и многие другие, вспоминать которых теперь нельзя, потому что они обидятся. Не иначе, что все это было в тех самых апартаментах, где очаровательная смолянка «замарьяжила» государственного мужа на его и на свою погибель (прим. Лескова).

# 4

Прожигатели жизни, жуиры (от франц. *viveur*).

[^^^]

# 5

Во всяком случае (франц.).

[^^^]

От моих литературных собратий и от некоторых лиц из публики я получил много вопросов: действительно ли существуют на самом деле «записки синодального секретаря Исмаилова» и действительно ли из них почерпнута пересказанная мною история «смолянки». По этому поводу я считаю нужным сказать, что все до сих пор сказанное о «красавице» действительно взято из подлинных записок Исмаилова, которые сейчас лежат у меня на столе и могут быть предъявлены всякому, кто пожелает их видеть. А до приобретения их мною они хранились у киевского профессора Ф. А. Терновского, которому все их содержание близко известно. Часть их напечатана в духовном журнале «Странник». Потом они были передаваемы мною в редакцию «Исторического вестника» и «Наблюдателя», где они были отвергнуты, ибо в растянутом и неуклюжем изложении Исмаилова они, действительно, скучны и не совсем удобны для печати. Затем я приобрел эти записки с целью выбрать из них то, что может характери-

зовать самые глухие годы нашего века (XXX годы). История «очаровательной смолянки» далеко не из самых удивительных, которые записал Исмайлов. Ряд самых любопытных брачных историй пришлось выпустить, потому что содержание их, как его ни маскируй, — выходило слишком неудобно для современных нравов (прим. Лескова).

[^^^]

# 7

В глазах влюбленного (франц.).

[^^^]

И я тоже (франц.).

[^^^]